

Глеб Иванович Успенский

Власть земли



Глеб Успенский

Власть земли

«Public Domain»

1882

Успенский Г. И.

Власть земли / Г. И. Успенский — «Public Domain», 1882

Цикл «Власть земли» – центральное произведение Успенского начала 80-х годов. Цикл этот имел большое общественное значение и вызвал многочисленные отклики критики. Развивая мысль о влиянии земледельческого труда на жизнь крестьянина, Успенский пришел к выводу, что основной силой, определяющей весь строй жизни и мировоззрения крестьянина, является «власть земли». В процессе ежедневного труда крестьянин на каждом шагу ощущает свою зависимость от земли, от стихийных сил природы, которым он вынужден подчиняться. Эта зависимость наложила свой отпечаток не только на быт, но и на мировоззрение крестьянина. Утверждая, что жизнь крестьянина и его идеалы сложились под влиянием земледельческого труда и приспособлены к нему, Успенский делает отсюда заключение, что отрыв крестьянина от земли ведет к гибели сложившегося веками типа крестьянина-земледельца.

Содержание

I. Иван Босых	5
II. Рассказ Ивана Босых	7
III. Расстройство	10
IV. Власть земли	15
V. Народная интеллигенция	19
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Глеб Иванович Успенский

Власть земли

І. Иван Босых

Морозный зимний день в полном блеске. Час одиннадцатый в исходе. В незамерзший кусочек полузаметенного снегом окна вижу я, как на широкий двор, примыкающий к тому деревенскому дому, в котором я живу, вошел крестьянин Иван Петров, по прозвищу «Босых».

Вижу я, как ленивою, почти болезненною поступью подошел он к куче кое-как наваленных в углу двора поленьев, которые Иван взялся расколоть на дрова, как он, вместо того чтобы приняться за работу, принялся обеими руками крепко-накрепко царапать свою голову, держа подмышкою шапку, как потом, нахлобучив эту самую шапку на голову, потолкал кучу поленьев ногой, обутой в рваный валяный сапог, и как, опять-таки вместо того чтобы взяться за топор, стал разминать плечи, стараясь достать кулаком до середины спины... Вижу я все это и знаю, что Иван находится в самом мучительном состоянии, — знаю, что он болен «со вчерашнего», что он вчера крепко выпил, что если сегодня он и появился около дров, то уже поздний час прихода на работу, когда люди собираются обедать, означает только желание выпросить рубль серебра на опохмелъе. И точно, поколотив кулаком поясницу и между лопатками, он полез в карман серого подпоясанного армяка за махоркой и потом, растирая ее на ладони, уныло поплелся в кухню. Здесь, как мне также уж достоверно известно, он долгое время будет курить, а чтобы завести общий разговор, сообщит, что «вчерась» у него вытащили в кабаке деньги, и, возбудив этим общее сочувствие, долго будет разговаривать о своем расстройстве, о том, как он жил на «вокзале», о том, как он поправился; сообщит множество сведений о том, как лечить такую-то и такую болезнь, как ловить барсуков, как прививать яблони, и в конце концов, не имея сил долее сопротивляться мучительному недугу похмелья, скажет: «нет, видно, ноне я не человек», — и пойдет ко мне просить рубль серебра, говоря, что у него внутри жжет и дерет, ест и сосет и что, почувствовавшись, он придет завтра до свету и все переделает с одного маху. И это также давно мне известно: знаю я, что, очнувшись, Иван Петров делается совсем другим человеком и что в такие — к несчастью, редкие — минуты нет в деревне такого другого мужика, который был бы так, как Иван, «зол» на работу, то есть так к ней пристрастен и так ею оживлен.

Иван Петров принадлежит к тому ненужному, непонятному, даже прямо постыдному для такой земли, как Россия, классу деревенских людей — классу, народившемуся в последние двадцать лет, — который волей-неволей приходится назвать «деревенским пролетариатом».

Этот новорожденный пролетариат решительно мог бы не существовать на нашей земле, если бы миллионы мероприятий, направленных в сторону народа, дорожили народным мирозерцанием, по малой мере в таких же размерах, как и его платежной силой. Для того, чтобы махнуть рукой на землю и предпочесть своему дому дом питейный, вполне достаточно хотя бы только той нелепицы в крестьянских «правах», вследствие которой крестьянин, сегодня бывший присяжным, судьей и великодушно оправдавший несчастного человека, давший ему жизнь словами «нет, не виновен», на другой же день после свободного проявления такого большого «права» может быть выпорот в волостном правлении *до крови* за то, что, встретившись под хмельком со старшиной, нанес ему оскорбление словами: «ах ты, курносый заяц!»

Чтобы молча и безропотно вращаться только между такими полюсами крестьянских «правов», и то надо отказаться от всякой нравственности, от всякой духовной жизни, от всякой возможности жить по своему разуму. Но этот пример только капля в море того *коренного* расстройства, которое размывает самые коренные основы народного мирозерцания, вырабатывает человека «без перспективы» и «без завтрашнего дня», стремится сделать работника и

раба из человека, который по самому существу своей природы *не может* существовать иначе, как с сознанием, что он «сам хозяин».

Посмотрите вот на этого Ивана Петрова, по прозвищу Босых: он человек сильной породы, он легок, ловок и умел в работе, жена его умная, сильная и ловкая работница, когда-то красавица; земли он может иметь сколько понадобится; но кроме «хозяйства» он еще и плотник, весьма хороший для деревни, и сапожник; да и просто как поденщик – колоть ли дрова, прессовать ли сено и проч. – он мог бы, получая не менее семидесяти копеек в сутки на хозяйских харчах, существовать безбедно, а он вот бросил хозяйство, бьет жену, жена ходит жаловаться, плачет; дети его, трое ребят, по целым дням шляются в грязных лохмотьях по деревне без всякого призора, и неизвестно, кормит ли их кто-нибудь. Изба его, в ряду тех новых «крестьянских» изб, в которых вы видите кисейные занавески, венскую мебель и часы под колпаком, представляет собою верх безобразия: она вся почти развалилась; вместо стекол – тряпки и какие-то лохмотья; а по постройке избы и служб вы видите, что дом был «богатый»; сарай протянулись сажен на тридцать; столбы везде дубовые, аршина по два в обхвате... А сам хозяин? Спросите о нем у авторитетных деревенских людей, все отзовутся о нем самым неодобрительным образом: он три раза продал одно и то же сено трем разным лицам, а деньги пропил; он набрал «под телушку» в трех лавках и не отдал нигде – телушку продал на сторону, а деньги по обыкновению пропил. Его секли в волости несколько раз – к за грубость перед начальством, и за недоимки, и по жалобе жены, которую он после этого суда жестоко избил в поле, возвращаясь домой. «Не давайте ему денег, ни боже мой, не давайте вперед!» – советует вам экономный деревенский житель. «Ни на волос не верьте!» – говорит другой житель, уже обманутый Иваном. А между тем когда Иван «очувствуется» на неделю, на две, что это за славный, добрый, умный человек! Сколько у него юмора, наблюдательности, нежности, великодушия, насмешки над самим собой, сколько юношеской душевной свежести! Что же валит его пьяным, с опухшим лицом, ничком в мокрую, грязную канаву, без сапог, без одежды и заставляет целые ночи подставлять свою широкую спину под дождь и ветер? Вся деревня помнит его родителей, все говорят, что когда-то «Босых» были первые хозяева, что Иван и жена жили прежде дружно, работали «за первый сорт»; все согласны, что очнись он, ему цены не будет, что у него «золотые руки»; а он точно умышленно махнул на все рукой, обманывает, буянит и, как нищий, шляется в поденщиках, да и то только для того, чтобы выработанное пропить в кабаке.

II. Рассказ Ивана Босых

Теперь пьянство Ивана превратилось уже в болезнь, а эту болезнь, угнетающую не одного Ивана, а целые массы таких же, как и он, непостижимых в Русской земле деревенских пролетариев, сам народ охарактеризовал словом «ослаб». Физически Иван, как и сотни ему подобных «ослабших» мужиков, не только здоров и силен, но прямо могуч: стало быть, слабость его имела не физические, а какие-то другие источники. Вот о причинах этой-то «слабости», «ослабления» и бывали у нас с Иваном весьма частые разговоры, долгое время не приводившие ни к каким благоприятным результатам, а иногда прямо сбивавшие с толку, особенно такого человека, который привык и приучился объяснять народное расстройство почти исключительно материальными несчастьями, бедностью, налогами и т. д. Приведу для примера один из таких разговоров.

– Скажи, пожалуйста, Иван, отчего ты пьянствуешь? – спрашиваю я Ивана в одну из тех ясных и светлых минут, когда он приходит в себя, раскаивается в своих безобразиях и сам раздумывает о своей горькой доле.

Иван вздыхает глубоким вздохом и с сокрушением произносит почти шопотом:

– Так избаловался, так избаловался... и не знаю даже, что и думать... И лучше не говорить!.. Одумаешься, станешь думать – не глядел бы на свет, перед богом вам говорю!

– Да отчего же это, скажи, пожалуйста?

– Отчего?.. Да все оттого, что... *воля!* Вот отчего... своеволие!

Так как ответ этот ставит меня в недоумение и я решительно не могу понять, почему «воля» может губить человека, то Иван, чтобы рассеять мое недоумение и объясниться обстоятельнее, прибавляет:

– От жизни от свободной, вот отчего!

– Что же это значит? – спрашиваю я в полном недоумении.

– А то значит, как жил я на вокзале, получал я тридцать пять целковых в месяц, народу имел под начальством десять человек, доходу мне каждый божий день с вагону уж беспрерывно рубль серебра, а сочтите-ка, сколько в зиму-то вагонов отправим?.. Ну вот тут-то я, значит, и забаловал...

Слово «забаловал» до такой степени не подходит к сорокалетнему мужественному бородавтому мужику, что не понимаешь даже, как он может в объяснение своего поведения употреблять такие выражения, приличные только разве малому ребенку. Но Иван не находит другого точного выражения.

– Вот и стал баловаться... При покойнике тятеньке, бывало, капли в рот не брал. Убьет, если узнает, на смерть уколотит своими руками... Да и после тятеньки, когда уж оженился, своим хозяйством стал жить, и то позволял себе – когда угостят, да на праздниках, да иной раз со скуки – стаканчик. Все опасался и покуда чего было – берегся... Ну, а уж тут, на вокзале, как стала мне воля, стало мне, значит, раздолье, стал я – одним словом, коротко сказать – барин, тут-то я и пошел... Жрешь, бывало, целые сутки, а все доверху нехватает... Я как сейчас помню, с чего начал: у дорожного мастера Ивана Родионовича именины были на Ивана Постного. Ну он мне и налил виноградного стакан – «портвин» прозывается... Я как двинул его – понравилось. Я и давай... А там и коньяк, лимонад. Вот с этих самых пор и завел себе язву. А отчего? – Все от воли!.. Все от непривычки, от легкой жизни... Вот отчего!.. Бывало, денег полны карманы набью... Ну, и стал через это самое вроде последней свиньи...

Таким образом оказывается, что «воля, свобода, легкое житье, обилие денег», то есть все то, что необходимо человеку для того, чтоб устроиться, причиняет ему, напротив, крайнее расстройство до того, что он делается «вроде последней свиньи».

– Отчего же ты деньги-то на хозяйство не тратил, а на пьянство? – спрашиваю я.

– То-то и есть, не привычны мы... Какое тут хозяйство, когда совсем стало жить свободно?.. Делай что хочешь – никто не попрепятствует... Тут, одним словом, можно вконец избаловаться...

Так как Иван видит, что объяснения его ничего не объясняют и что я все-таки не мог взять в толк, отчего хорошая жизнь превращает человека в свинью, то он старается пояснить мне свою мысль примером, к чему в разговоре вообще довольно часто прибегают крестьяне. Привожу этот пример, зная, что он едва ли что уяснит читателю.

– Потому что, – говорит он, – природа наша мужицкая не та... Природа-то у нас, сударь, трудовая... Я скажу вам примером. Был у нас тут по суседству барин, господин Подсолнухов, хозяйствовал... Вот хозяйствовал, хозяйствовал, видит он, что доходу ему нету, задумал он молочным делом заняться. Наша скотина ему не по нраву пришлась – коровенки наши точно – худы, шаршавы, – дай, думает, заграничную корову выпишу. Выписал. Идет телеграмма, едет корова из-за границы, немец ученый провожает... Видим, ведут чуть не на цепях – эдакая верзила, сажень вверх да полторы вдоль. Урядник даже шапку снял... Что рога, что глаза, что прочее все – страсти господни! Великан, Еруслан Лазаревич... Очистили ей скотник, настлали соломы, пришла она и легла, эдак, на бок. А немец лампу потребовал на ночь. Вот хорошо, лежит она таким манером и ест. Только бабы подкладывают ей под морду корм. Ест, а молока не дает. «Что же это, говорю немцу, она молока-то не дает?» – «А это, говорит, она отдыхает, так как, говорит, из-за границы и все в вагоне, то она утомлена и поправляется своим здоровьем...» – «А долго ли, мол, она будет поправляться?» – «Да с месяц места пройдет». Ладно. Попробовали было ей нашего мирского быка порекомендовать – куда!.. Как глянул на нее, какая она есть великолепная, испугался, как заяц: понял, что не ему с мужицким рылом соваться, – и давай бог ноги... Едва за двенадцать верст чужие мужики поймали. А она тем временем отдыхает все. Все ест, вздыхает и ест... Наконец уж, видно, совесть ее взяла, дает молока, и целое ведро. Вот барин и говорит: «Видишь, говорит, Иван, какое же сравнение с нашими коровенками». – «Ну нет, говорю, барин, по ейному корму наша скотина много способней». – «Как так?» – «А вот как: сосчитайте, сколько она у вас съела и много ли по корму молока дала? Она хоть и ведро дает, да ведро-то это больно много стоит... А кабы вы корм-то, что она одна съела, роздали нашим десяти коровенкам, так все-то вместе они вам в десять раз больше этой одной верзилы дали б». Тут немец и говорит: «Она, говорит, не такой породы, чтобы только о молоке думать; она и об себе думает, она ест для своего удовольствия, – посмотри-кось, какое у ней мясо-то...» Вот после этих слов я и говорю барину: «Видите, говорю, господин, ан и оказывается, что наши коровенки как раз по нашей природе и породе приходятся... Мясо нам не требуется, своего удовольствия она знать не знает, а живет только из-за работы; что ест, то отдает, а об себе не думает. Родилась она для работы и живет весь век в ней – вот вся и жизнь ее... Вот и человек этак же бывает разный. И вот наша крестьянская порода то же самое: мы круглый год и всю жизнь не покладая рук работаем, да так в работе и живем... Я вот попробовал от крестьянства отбиться – чуть было не опился... А другому что легче, то лучше; что ничего не делать, то и приятно... Вот у нас на станции еврейчик был Шнап... все он там толкался в разных местах и все на пустом норовил рублишко нажить: там барыню провожает, там мужику укажет, как и куда пройти... Ну и дают – кто рубль, кто гривенник... А он все прячет, все копит. «На что, говорю, копишь?» – «Карьер хочу делать». – «Какой такой?» – «Деньги наживать!» – «Зачем?» – «Лавку открывать!» – «А как откроешь?» – «Опять деньги наживать!» – «А как наживешь?» – «Еще больше буду наживать!» – «А как совсем уж много будет?» – «Опять буду еще больше стараться»... Вот и гляди на него. «Пойдем выпьем!» Нейдет, копейки не истратит. А по-нашему, по крестьянству, для хозяйства еще, пожалуй, можно понажить деньжонок, а так... наживать да наживать – так это я даже ив понятие-то не возьму... Шнап-то вон этот из грошей капитал делает, а вот я как позабыл крестьянство-то, от трудов крестьянских освободился, стал на воле жить, так и деньги-то мне стали все одно что щепки...

Только и думаешь, куда бы девать, и кроме как кабака ничего не придумаешь... Чего! Я уж вам во всем буду каяться... (Иван говорит шопотом.) Тр-р-ри мамзели завел! Закон забыл!.. Перед богом говорю... Воля! Свобода! Только и думаешь, как бы что... Тьфу! До такого дошел забвения, даже стал наших, своих же братий, мужиков притеснять... И с чего! – Просто совести не осталось... Придут, бывало, с холоду, разыщут в трактире, кланяются, просят сено отправить – второй, мол, день ждем, проелись, а концов не сыщем... Мне бы, кажется, только сказать подручному: «Михайло, дай им вагон!» – а меня точно нечистая сила начнет разламывать... Сидишь за бутылкой, ломаешься и говоришь: «Изыскивайте способов». – «Да каких же, батюшка, способов-то искать? Ходили-ходили, везде машины свистят, дым дымит, того и гляди раздавят... Уж мы и так измучились». – «Изыскивайте! говорю, сумеете понять, кто вам надобен...» – «Да ты, отец родной, ты...» Ломаетесь, ломаетесь, бывало, уж кто-нибудь из публики вступится, скажет мужикам: «Да всуньте вы ему, подлецу, три целковых в горло... Каких ему еще способов надо!» Ну уж тут поневолишься, сделаешь... Жена придет, бывало, облаешь... По крестьянству она мне нужна, а на свободе у меня особенные баловницы есть... Что мне с ней, с мужичкой, делать?.. Ведь вот до какого дошел своевольства! И верите, как распьянствовался я до последнего предела, как дошло дело до начальства, да как приехал начальник дистанции, да ка-а-к дал мне (лицо рассказчика вдруг просияло) хо-о-орошего леща, да как начальник эксплуатации набавил мне (детская радость разлилась по лицу его) в загривок, да как в подвижном составе наколотили мне бока, – так я, братец ты мой, сотворил крестное знамение, да точно как из могилы выскочил, воскрес, да по морозу, в чем был, без шапки, – домой!.. По полям, по сугробам, по задворкам, как птица, двадцать пять верст без остановки пропорхал и не видал, как середь своего двора очутился. Очутился я на дворе гол и наг, и все у меня в разорении, а рад был – истинно, как из мертвых воскрес. Слава тебе, господи! Слава тебе, царица небесная! Опять я – человек, опять я сам себя отыскал... Пал жене в ноги. «Прости меня, жена моя милая! Давай работать, хозяйствовать! Брошу свои глупости, опять стану человеком...» И уж принялся же я в ту пору! И все-то мне мило – и пашня, и соха, и борона, и дровни, и телушка, и сарай, что покосился, и забор, и колода... Все – точно родные, друзья дорогие, кровные... Гляну, гляну – страсть какое разоренье, а у меня только дух бодрей... Что вижу – сколь много работы, что вижу – работать не переработать, то мне и охоты больше, то и силы прибывает... Так вот какая наша крестьянская природа! А там и работы не было, и всякое удовольствие, и деньги, а точно безумный сделался, всю душу-то по грязи истаскал, как свинья свое брюхо... А отчего? – Все воля!

Этим непонятным сопоставлением слов «воля» и «нравственное падение» Иван и начинал и оканчивал свои беседы со мною и, как видите, не только не разъяснял моих недоумений, но значительно их преувеличивал.

III. Расстройство

Не раз заходил у нас с Иваном разговор на ту же тему, то есть на тему о том, отчего он спился, отчего расстроился, что нужно крестьянам, чтобы было лучше, и т. д., и всегда разговоры эти не приводили ни к каким удовлетворительным результатам. Ответы и рассказы его были всегда неинтересны, очень часто утомительны своим однообразием или, напротив, ставили в недоумение, объясняя пьянство выражениями «воля» или «баловство» и т. д. Происходило это оттого, что Иван часто вовсе не упоминал о том *главном*, что давало этим сухим и утомительным разговорам глубокий (на мой взгляд) интерес, а я, как человек посторонний подробностям и сущности народной жизни, не понимал этого главного и пропускал мимо ушей такие слова и фразы, произносимые Иваном мимоходом, как всем давно известные и понятные, которые именно одни только и могли осветить мне тьму и путаницу наших неинтересных разговоров. Вот почему я не буду передавать этих разговоров в их «последовательном беспорядке», а приведу их тогда, когда читателю будет можно понять их, и для этого остановлюсь на том разговоре, который приведен выше.

Иван рассказал самую обыкновенную историю: на каждом шагу, от всех хозяев – от всех, кто имеет дело с наемным человеком, – вы слышите то же самое, то есть что пьют потому, что «избаловались»; потому, что «воля»; потому, что «некому смотреть за порядком», «нет страху»...

– Помилуйте, – слышите вы поминутно, – чего еще им нужно? Рабочий получает семьдесят копеек в сутки на хозяйских харчах, два раза чай – ведь это не маленькая плата! Зимний день в наших местах короток – в восемь часов утра еще темно – приходят рабочие в девятом часу, работают с разговором, с цыгарками до двенадцати, часа полтора уйдет на обед, а там, глядишь, в четыре часа и ночь. Скажите, пожалуйста, что еще надо?.. Нет, поработают до обеда, уйдут в кабак, завтра совсем не пришли, а если станешь задерживать деньги дня по три, по четыре для их же пользы – ропот, требуют; отдашь – пропьют!..

Доля правды в этих рассуждениях есть несомненная. Крестьянин, работающий дома, никогда не выработает таких денег, хотя работает целый день. Учитель, нанятый обществом, получает три рубля в месяц, с обязательством всю зиму учить человек двадцать маленьких детей, которые являются буквально до свету и, пообедав, опять сидят с учителем часов до шести. Родители нарочно посылают маленьких детей в школу, чтоб они не мешали дома, и одно уж пребывание в обществе этой шаловливой толпы в течение по крайней мере восьми или девяти часов – дело весьма нелегкое; однако, повторяю, учитель получает три, много пять рублей в месяц, да и то родители обижаются, что «мало учит», рано домой отпускает. Кроме этого, жизнь учителя – скитальческая. Он живет в деревне на пастушьем положении, то есть ходит обедать и ночевать из двора во двор, и бывают частенько случаи, что иная чистоплотная баба выгонит из избы и учителя и учеников, которые явились к ней «по очереди», – выгонит вон, прямо на мороз. Сравнительно с таким трудом и неудобствами вознаграждение учителя хуже, чем нищенское, так как всякий нищий, точно так же как и учитель, найдет ночлег в чужом доме, найдет и кусок хлеба, но деньгами соберет гораздо более того несчастного гривенника, который платят (и всегда с задержками) учителю. Вознаграждение, получаемое дроворубом или прессовщиком сена, и труд их не могут идти ни в какое сравнение ни с трудом, ни с вознаграждением учителя – так этот труд легок и так это вознаграждение велико. Прессуют сено не менее четырех человек. В то время, когда один кидает его в пресс, а другой утаптывает ногами, двое других курят цыгарки и разговаривают разговоры; а когда, в свою очередь, они принимаются за работу, то есть начинают рычагами поднимать исподнюю доску прессы, первые двое принимаются за цыгарки. Кроме того, работа приостанавливается, если пойдет снег, ударит сильный мороз: пойдет кто-нибудь к хозяину «увспроситься», работа стала. Мужик по нужде

продает сажень дров за рубль, а распилить и расколоть берут рубль двадцать. Кабаки и трактиры полны, и здесь идет питье пива, водки, даже коньяку и «портвину». Наряду с тем почти всеобщим мнением, что вырабатываемые деньги идут почти целиком в трактир, вы услышите и сетование о том, что много народу, крестьян, бросают пашню. «Балуются», хозяйством не занимаются: «выпоит теленка», продаст за сорок целковых – и пошел кофеи да чай распивать; а земля брошена, податей не платит. Вообще люди хозяйственные, строгие, непьющие определяют вам характерную черту современной деревенской жизни выражениями: «ослаб народ», «распустился», и в подтверждение этого скажут, что «против прежнего народу стало легче, денег ему приходит больше, но что так как нет строгости, то деньги идут прахом». Скажут, что «наш» (подстоличный) народ мог бы и подати заплатить и жить хорошо, так как опять-таки средства для этого есть – сено, например, продают в Петербурге почти так же дорого, как хлеб, лен и т. д., – но что он «избаловавши», «распустивши», «ослабши». Да и помимо показаний этих сведущих деревенских людей сами вы, посторонний человек, видите, что непроизводительная трата денег среди крестьянства в самом деле велика. В огромном большинстве расстроившихся хозяев значительнейшая часть заработка идет не на хозяйство, а на трактир, на пустяки, картежную игру, мотовство.

И что удивительно, мотовство, расстройство *начинается* именно *от более легкого*, чем крестьянство, заработка; рассказ Ивана, по прозванью Босых, свидетельствует о том, что он, Иван, начал терять всякий смысл существования по мере того, как ему становилось «легче», по мере того, как в руках его оказывались такие деньги, каких прежде он и во сне не видал. Человек, из-за «расстройства» отправившийся на заработок и получивший хорошее место и деньги, как будто позабыл, что с ними надо делать, начинает швырять деньги, как щепки. Он говорит: «все – воля». Это непонятно; но еще менее понятно и следующее обстоятельство.

Однажды, прочитав в газетах о том, что какой-то пензенский помещик «на свой страх» ввел в соседней деревне общественную запашку, я не мог не поговорить об этом обстоятельстве с кем-нибудь из знакомых крестьян. Пришлось разговаривать с Иваном, который был в этот день трезв и первый попался мне на глаза. Помещик завел общественную запашку с тем, чтобы, облегчив процесс труда крестьянам, приобрести сэкономленное ими время в собственное распоряжение и иметь рабочих, которые бы, как говорится, «не разрывались», одновременно работая по найму и на себя, но, отработав свою часть на общественной пашне, были бы совершенно свободны. Работы общественные устроились посменно; одни работают на помещика, другие – на пашне. Всякая смена ждет своей очереди. В известии об этом было прибавлено, что облегчение и скорость труда до того пришли крестьянам по вкусу, что тому же способу обработки общественных полей последовало в тот же год более двухсот окрестных деревень.

Хоть я и давал себе зарок не говорить с крестьянами об их крестьянских распорядках, так как в большинстве случаев такие разговоры совершенно бесплодны и ни к чему практически-путному не ведут, но на этот раз пример двухсот деревень соблазнил меня. «Как бы хорошо было, – сказал я, – если б и у вас завелись такие порядки: всякий, даже самый последний нищий, калека, который теперь побирается у вас под окнами, тогда бы мог иметь общественный хлеб, так как непременно мог бы что-нибудь делать в общей работе. Рассчитать все можно до ниточки. Вот этот солдат безногий теперь побирается, потому что у него нет ни кола, ни двора, ни земли, ни скотины, а тогда он мог бы, положим, стоять в риге и считать, сколько привезено снопов, или под уздцы лошадь водить за тебя, например, Ивана, а ты, отработав свою часть – положим, дня два – пашни, был бы свободен, работал бы у помещика, и деньги бы чистые пришли домой. А потом, сколько тратится земли на эти межники, канавки? То ли дело по очереди вздрать землю сразу? Ведь косят же какие огромные луга и успевают скосить в один день, потому что принимают сразу все, а тут на хлебе каждый бьется один целые месяцы без отдыха, отрывается на чужую работу, оставляя свою. Иной раз хлеб не успевает,

потому что поздно посеян. Почему же, – спрашивал я, – сено можно косить всем миром и разделить копны поровну и без обиды, а нельзя того же делать с хлебом? А какое облегчение! Теперь ты работаешь на своей десятина один, а тогда из ста душ будут каждый день работать, положим, только десять человек, и все-таки твоя десятина обрабатывается в десять раз скорее; так и у других. Девяносто человек (по очереди) всегда свободны и могут делать что угодно. Наемная работа только выгода, потому что, работая по найму, ты уж знаешь, что хлеб у тебя будет. Да и о бедных и бессильных надо подумать, а при такой работе можно». Тут для большей убедительности я припомнил Ивану про некоего конокрада Ручкина. Ручкин был чистый злодей для множества деревень во множестве уездов. Он безжалостно разорял мужиков, угоня лошадей, и издевался, буквально тиранил и брал с них что только хотел. Не раз его сажали в острог, отдавали под суд, но «неопытные» начальники, на которых за это весьма ропщут крестьяне, не зная дела, выпускали его, потому что злодей Ручкин на суде оказывался, по их «неопытности», белей голубя. Например, лошадей он прятал обыкновенно в лесу, а когда на суде его спрашивали, зачем он был в лесу такого-то числа, то Ручкин отвечал: «За грибами». – «А лошадь как очутилась в твоих руках?» – «Да я вижу, чья-то лошадь бродит, дай, думаю, привяжу и спрошу потом мужичков, чья такая. Поди, иной бедный смучается искавши». – «А деньги ты брал за лошадь?» – «Ваше благородие, ведь мне пить-есть надо!.. Ну, а кабы пропала лошадь-то, кабы медведь съел, неужто лучше было бы? И неужто он разорится, ежели что даст мне на бедность?..» После таких речей Ручкина освобождали и водворяли на место жительства. Здесь, «с сердцов» на односельчан, он принимался свирепствовать еще беспощаднее. А между тем свирепствовал он истинно по нужде; Ручкиным прозывали его потому, что у него *не было одной руки*... Долгое время я слышал: «Ручкина убить, утопить мало»; «злодей, аспид» и т. д. И только случайно узнав, что «Ручкин» не фамилия его, а прозвище, я спросил: «Почему его так называют?» – «Да руки у него правой нет, у мошенника, одной левой злодействует», – отвечали мне. Конечно, Ручкин мог бы просто и смиренно нищенствовать, но не всякому это по характеру, и Ручкин из-за калечества предпочел злодействовать. Возвратившись два раза из острога, он стал решительно всем страшен. Начальство сельское его трепетало. Встретившись как-то в поле без свидетелей со старшиной, он спросил его: «Что, Петр Семенович, много ли сена накосил?» – «Да пудов тысячи полторы. Тебе-то зачем знать?» – «Да хотел я у тебя деньжонок потребовать...» – «За что такое деньжонок?» – «Да... да ведь это я прошлый год у Козьявкина сено-то сжег...» И больше ничего Ручкин не прибавил, только засмеялся, «как чорт». Старшина вынул пять рублей и дал. Жаловаться нельзя – нет свидетелей, да и судьи боятся Ручкина; а не дать нельзя – сожжет. По мнению обывателей, остается одно – убить его тихим манером, как собаку. Лодочник-перевозчик объявил, что он его утопит, и кажется, что все ожидали этого не с сожалением.

Так вот об этом-то Ручкине я и завел речь в подтверждение тех бесчисленных выгод, которые могут произойти из общественной работы. «Ручкин этот, – говорил я, – сделался не вдруг злодеем, он должен был как-нибудь существовать без руки, а нищенствовать не хотел. При теперешних ваших трудах вам впору только справиться с своими нуждами, а тогда вы *можете* и о других подумать. Даже даром могли бы тогда кормить Ручкина. Да и надобности нет даром-то кормить: Ручкин и с одной рукой может помочь в работе. Тебе, например, некогда снопы возить – Ручкин пойдет. Лошадь твоя, а труд – его. Все это ведь рассчитать можно...»

На этом Иван прервал меня. До этой минуты он меня слушал, и, как мне казалось, внимание его усиливалось, так как я постарался всевозможными доводами и сравнениями показать ту огромную разницу в удобствах жизни, которая произойдет в случае перемены теперешнего хозяйства на то будущее, о котором шла речь. Но при моих словах: «лошадь твоя, а труд его» – молчаливо и неподвижно внимавший мне Иван точно проснулся и проговорил:

– Н-ну нет... Хороший хозяин не доверит своей лошади чужому...

И, энергически потряхнув головой, прибавил не менее энергически:

– Чтоб я доверил, например, свою скотину чужому человеку? Сам бы ушел, а мою скотину? Да позвольте вам сказать...

И мгновенно какое-то необычайное оживление охватило его. Какая-то масса соображений, задевавших его «за живое», вдруг овладела им, и он, сверкая глазами, заговорил:

– Отдай я чужому свою скотину? Помилуйте! Да позвольте сказать, вы вот говорите: делить хлеб... Хлеб в наших местах без назему не родится... Позвольте узнать, как же по вашему плану будет с навозом?

– Будут возить, как и теперь. Ведь теперь покупают назем?

– Это верно. Что так, то так... Но позвольте сказать...

– Ну и тогда так же рассчитать. Теперь воз – тридцать копеек, и тогда – по возам, а вместо денег – хлеб. Вы пахали, возили навоз – вам и за пашню и за навоз.

– Да не про то я говорю, это действительно учесть можно; а как уравнивать назем – вот о чем мои слова! Теперь я везу назем кониный, а другой какой-нибудь плетется с коровьим – какое же может быть тут равновесие?

Я не знал, что сказать, потому что никогда не предвидел такой тонкости.

– А другой, – все более и более входя в интерес предмета, горячился Иван, – а другой объявляется с свиным – тут как сыскать правду?

– Да не все ли это равно?

– Все равно-с? – Ну это уж извините. Кониный или коровий, или возьмем птичий или же свиной – тут, окончательно сказать, небо и земля, а не все равно... Коровий назем дает хлеб метелкой, он топорщится, и зерно у него легкое. Птичий... Да за что же я, позвольте вас спросить, имея в своем хозяйстве, например, кониный или гусиный, например, самолучших сортов, – за что же я должен, что он там, мошенник, ворует лошадей и ему Сибири, каналье, мало, – за что я, коль скоро у меня в хозяйстве все как следует, должен хлеб получать с мусором?

– Да ведь много ли тут разницы?

– Да позвольте!.. Лошадь я отдай, хлеб мне с помесью – за что?

– Зато всем лучше.

– Да лучше я ему и другую руку переломлю, чтоб он не воровал; а то, помилуйте, все у меня в хозяйстве припасено, а тут мне с свиного да с коровьего... Да тьфу! За что? За что я должен пострадать... через подлецов или как прочих негодяев?.. Нет, не выйдет этого... Да нет, нет! Это и думать даже... Помилуйте, лошадь... да как же можно, чтоб я, хозяин, доверил кому-нибудь?.. Навалят мне на пашню неведомо чего, а я при своем при полном... Нет, не выйдет!.. тут с одним наземом греха наживешь... Или взять так: я привез кониный, а сосед куриный... Ну возможно ли ему – сами вы подумайте, возможно ли ему – дать согласие, что хотя бы даже и с кониного получить? Ведь куриный, птичий, все одно червонец... За что же он должен?.. Да нет, нет! Тут никаких способов нет... Как можно! Какой же я буду хозяин?

Миллионы самых тончайших хозяйственных ничтожностей, ни для кого, как мне казалось, не имевших решительно ни малейшего значения, не оставлявших, как мне казалось, даже возможности допустить к себе какое-либо внимание, вдруг выросли неодолимою преградой на пути ко всеобщему благополучию... Горячность, даже азарт, какой овладевал Иваном во время этого монолога, доказывали, что эти ничтожности задевали его за живое, то есть за самое чувствительное место его личных интересов. Слушая его, я не возражал, но только дивился: человек, который при «хорошей жизни», «на воле», «на свободе» не жалеет денег на пьянство, не находит возможности чем-нибудь наполнить свое существование кроме распутства, – человек, который «швыряет», как барин, деньги, когда ему легко жить, – вдруг, как скупец, дрожит над каким-то куриным наземом, не соглашается уступить зерна, ежели оно возросло на ненадлежащем удобрении... Человеку *легко* – он «ослаб», пропадает и пропивается; человек отказывается от *облегчения* в труде, и во имя чего же? Во имя каких-то ничтожнейших мелочей!.. Он

рад, когда начальник дистанции дал ему по шее и из легкой жизни опять ввергнул в трудную. В чем же тут тайна?

IV. Власть земли

А тайна эта поистине огромная и, думаю я, заключается в том, что огромнейшая масса русского народа до тех пор и терпелива и могуча в несчастьях, до тех пор молода душою, мужественно-сильна и детски-кротка – словом, народ, который держит на своих плечах всех и вся, – народ, который мы любим, к которому идем за исцелением душевных мук, – до тех пор сохраняет свой могучий и кроткий тип, покуда над ним царит *власть земли*, покуда в самом корне его существования лежит *невозможность* послушания ее *повелений*, покуда они властвуют над его умом, совестью, покуда они наполняют все его существование. У актера, который играет Мефистофеля или Демона, до тех пор лицо будет казаться огненным, покуда оно будет освещено огненным светом; наш народ до тех пор *будет* казаться таким, каков он есть, до тех пор будет обладать теми драгоценными качествами ума и сердца – словом, до тех пор будет иметь тот тип и даже вид, какой имеет, пока он весь, с головы до ног и снаружи до самого нутра, проникнут и освещен теплом и светом, веющими на него от матери сырой земли. Погасите красный фонарь – и лицо Демона перестало быть красным. Оторвите крестьянина от земли, от тех забот, которые она налагает на него, от тех интересов, которыми она волнует крестьянина, – добейтесь, чтоб он забыл «крестьянство», – и нет этого народа, нет народного мирозерцания, нет тепла, которое идет от него. Остается один пустой аппарат пустого человеческого организма. Настает душевная пустота, «полная воля», то есть неведомая пустая даль, безграничная пустая ширь, страшное «иди, куда хошь»...

Я чувствую, до какой степени топорно и грубо высказано мною то, что я хотел сказать, но явления народной жизни, в которых власть земли над человеком имеет первенствующее значение, до такой степени многочисленны и важны и вместе с тем выражаются в такой массе ничтожнейших, повидимому, мелочей, что в них немудрено запутаться и затемнить основную мысль, которую мне бы хотелось высказать. Вот почему мне и думается, что, быть может, и следовало даже определить эту мысль грубыми и резкими чертами.

Земля, о неограниченной, могущественной власти которой над народом идет речь, есть не какая-нибудь аллегорическая или отвлеченная, иносказательная земля, а именно та самая земля, которую вы принесли с улицы на своих калошах в виде грязи, та самая, которая лежит в горшках ваших цветов, черная, сырая, – словом, земля самая обыкновенная, натуральная земля. Могущество этой персти, «праха» с глубочайшею силой и простотой указано еще в стариннейшей былине о Святогоре-богатыре. В сущности, это даже и не былина, а загадка, но загадка, в которой таится вся сущность народной жизни... Все содержание этой коротенькой былины состоит в следующем: Святогор-богатырь выехал во чисто поле гулять. Выехал он просто так, без всякой задней мысли (обыкновенно богатыри выезжают собирать дани, выходы), выехал прогуляться, поразмять кости, силой с кем-нибудь помериться.

По моей ли да по силе богатырской
Каб державу мне найти, всю землю поднял бы.

Никакой, однако, подходящей, к сожалению богатыря, державы на пути не встретилось, а встретился ему «прохожий» мужичок с сумочкой за плечами. «Едет Святогор рысью, а прохожий все идет передом. Во всю прыть не может он (Святогор) догнать прохожего. Закричал тут Святогор, да громким голосом: «Гой, прохожий человек! подожди немножечко – не могу догнать тебя я на добром коне».

Прохожий послушался Святогора, остановился, снял из-за плеч сумочку и сложил ее на землю. «Наезжает Святогор на эту сумочку; своей плеточкой он сумочку пощупывал: как урослая, та сумочка не тронется. Святогор перстом с коня ее потрогивал: не сворохнется та

сумка, не шевельнется. Святогор с коня хватал ее рукой, потягивал: как урослая, та сумка не поднимается. Слез с коня тут Святогор, взялся за сумочку; он прилачился, взялся руками обеими, *во всю силу* богатырскую натужился, от натуги по белу лицу ала кровь пошла, а поднял суму от земли только *на волос*, по колена ж сам он в мать сыру землю угрыз. Взговорит ли Святогор тут громким голосом: «Ты скажи же мне, прохожий, правду-истину, *а и что*, скажи ты, *в сумочке наложено?*»

Взговорил ему прохожий да на те слова:

– Тяга в сумочке от матери сырой земли.

– А ты сам кто есть? Как звать тебя по имени?

– Я Микула есть, *мужик*, я Селянинович, я Микула – *«меня любит мать сыра земля»*.

Вот и вся былина-загадка, и опять, как видите, слову «земля» нельзя придать никакого значения, кроме буквального. «Тяга» в этой самой натуральной земле – той самой, которая у вас в цветочных горшках, – оказывается столь огромной, что с ней не в силах совладать богатырь, которому ничего не стоит разнести в пух и прах, от нечего делать, целую «державу». Этот богатырь, ухватившись «обеими руками», из всех сил натужившись, едва-едва мог только на волос поднять мужицкую сумочку – ту ношу, которую народ носит за плечами, и так легко, что богатырю не догнать его на добром коне. Читая эту былинку, некоторое время недоумеваешь, почему и зачем неведомый автор ее, цель которого была показать «тягу земли», заставляет богатыря догонять прохожего пешехода. Но, вчитавшись в былинку, видишь, что все в ней глубоко обдуманно, все имеет огромное значение в понимании сущности народной жизни: тяга и власть земли огромны – до того огромны, что у богатыря кровь алая выступила на лице, когда он попытался поколебать их на волос, а между тем эту тягу и власть народ несет легко, как пустую сумочку. Все это так именно есть и до сего дня.

Сначала скажем о тяготе и власти. Вот сейчас из моего окна я вижу: плохо прикрытая снегом земля, тоненькая в вершок зеленая травка, а от этой тоненькой травинки в полной зависимости человек, огромный мужик с бородой, с могучими руками и быстрыми ногами. Травинка может вырасти, может и пропасть, земля может быть матерью и злой мачехой, – что будет, неизвестно решительно никому. Будет так, как захочет земля; будет так, как сделает земля и как она будет в состоянии сделать... И вот человек в полной власти у этой тоненькой травинки. Ведь она только через год, почти день в день, принесет на мужицкий стол ломоть хлеба, но может и не принести – она сама во власти каждой тучки, каждого ветерка, каждого солнечного луча... Сколько перемен, неожиданностей, случайностей и огромных последствий, сопутствующих этим неожиданностям! Для этой травинки, для того, чтоб она могла питать, нужна масса приспособлений, масса труда, масса внимательности во взаимных человеческих отношениях. Нужна работающая жена, которая могла бы участвовать в этой массе труда, нужна скотина, уход за скотиной, нужны орудия и т. д., и все это для этой травинки.

Представьте себе, что выйдет, если мы, оценив результаты в деньгах, дадим этих денег любому крестьянскому двору втрое больше, чем он вырабатывает в течение года, – что выйдет? Образуется не семья трудящихся, занятых людей, а толпа ртов, у которых вся жизнь – сплошная пустота, что мы и видим в семьях, где живут, как говорится, «на готовые деньги»; тогда как властвующая над ним земля и труд, к которому она обязывает, наполняют все его существование, объясняют ему необходимость и надобность каждого шага, каждого поступка, каждого помышления. Жена крестьянина, которая в крестьянстве неопенена, при готовых деньгах, при отсутствии крестьянского земледельческого труда теряет вдруг все свои достоинства; она оказывается просто дурой, дубиной, деревом, которое будет мешать везде, куда только ни сунется. Вот почему так противны те из крестьян, которые вылезли к деньгам, отделились от труда, живут на готовое: скучнее, пошлее этой жизни трудно себе представить. Что за глупые

разговоры о людях с песьими головами, о Махмуде персидском¹ или, как теперь, о «панье» и «портвине». Кто не знает наконец, сколько глупого «форцу» вносит крестьянин, поживший в трактире, в лакеях и т. д. А ведь он пьет, ест готовое, спит в тепле и деньги получает; у него «часы анкерные»; но кто не испытывал к этим типам самого полного отвращения? И этот же пустомеля и остолоп тотчас начинает возвращаться к образу и подобию человеческому, как только возвращается к труду земледельческому, то есть когда *теряет необходимость* выдумывать свои интересы, наполнять себя нравственно чем попало и когда власть земли и труд, к которому она обязывает, наполняет все его существование содержанием не выдуманным, без его усилий, без его желаний, наполняет своею властью без его участия и воли.

Таким образом, у земледельца нет шага, нет поступка, нет мысли, которые бы принадлежали не земле. Он весь в кабале у этой травинки зелененькой. Ему до такой степени невозможно оторваться куда-нибудь на сторону из-под ига этой власти, что когда ему говорят: «Чего ты хочешь, тюрьмы или розог?», то он всегда предпочитает быть высеченным, предпочитает перенести физическую муку, чтобы только сейчас же быть свободным, потому что хозяин его, земля, не дожидается: нужно косить – сено нужно для скотины, скотина нужна для земли. И вот в этой-то ежеминутной зависимости, в этой-то массе тяготы, под которой человек сам по себе не может и пошевелиться, тут-то и лежит та необыкновенная *легкость* существования, благодаря которой мужик Селянинович мог сказать: «меня *любит* мать сыра земля».

И точно любит: она забрала его в руки без остатка, всего целиком, но зато *он и не отвечает* ни за что, ни за один свой шаг. Раз он делает так, как *велит* его хозяйка-земля, он ни за что не отвечает: он убил человека, который увел у него лошадь, – и невиновен, потому что без лошади нельзя приступить к земле; у него перемерли все дети – он опять не виноват: не родила земля, нечем кормить было; он в гроб вогнал вот эту свою жену – и невиновен: дура, не понимает в хозяйстве, ленива, через нее стало дело, стала работа. А хозяйка-земля требует этой работы, не ждет. Словом, если только он слушает того, что велит ему земля, он ни в чем не виновен; а главное, какое счастье не выдумывать себе жизни; не разыскивать интересов и ощущений, когда они сами приходят к тебе каждый день, едва только открыл глаза! Дождь на дворе – *должен* сидеть дома, ведро – *должен* идти косить, жать и т. д. Ни за что *не отвечая*, ничего сам *не придумывая*, человек живет только *слушаясь*, и это ежеминутное, ежесекундное послушание, превращенное в ежеминутный труд, и образует *жизнь*, не имеющую, повидимому, никакого результата (что выработают, то и съедят), но имеющую результат именно в самой себе.

Для чего растет вот этот дуб? Какая ему польза сто лет тянуть из земли соки? Что ему за интерес каждый год покрываться листьями, потом терять их и в конце концов кормить желудками свиней? – Вся польза и интерес жизни этого дуба именно в том и заключается, что он *просто растет*, просто зеленеет, так, сам не зная зачем. То же самое и жизнь крестьянина-земледельца: вековечный труд – это и есть жизнь и интерес жизни, а результат – нуль.

Вам, например, петербургскому интеллигентному чиновнику, жизнь не так легка: вы работаете в министерстве до пяти часов поденщину, чтобы выработать *средства к жизни*, вы делаете *ненужную* вам работу; что такое для вас лично горе вдовы кабатчика, Евдокии Милмордовой, которая пятый год со слезами умоляет защитить ее от опекуна, который при разделе дома завладел четырьмя окнами, а ей дал три, тогда как ей следовало еще пол-окна, – что вам до этого? А вы должны сидеть, класть резолюции, усовещивать опекуна на основании статей закона, грозить ему. Вы делаете это из-за средств к жизни, а для вашей личной жизни все это не нужно совершенно. Жизнь для вас – особь статья: Сарра Бернар², Зембрих³, почести, политика,

¹ Что за глупые разговоры о людях с песьими головами, о Махмуде персидском... – намек на рассказы странницы Феклуши в «Грозе» А. Н. Островского (д. II, явл. I).

² Сарра Бернар (1844–1923) – знаменитая французская драматическая актриса, много раз гастролировавшая в России.

то есть нечто совсем особое от вашего труда. Детей, например, вы должны воспитывать (чтобы не испортить) вдали от знакомства с вашими служебными и общественными интересами.

Вы трудитесь, надеясь на какой-то результат. Словом, ваша жизнь разбилась на полосы, в которых нет связи. Вы в департаменте совсем другой, чем дома или в театре. А крестьянин-земледелец везде один и тот же: он трудится и живет интересами этого же труда, и в этих же интересах *сам собой*, без учителя, воспитывается и его ребенок. Результат вашей жизни, положим, хоть плотная банковая книжка; банковая книжка пахаря тут же всегда с ним – в его радости, что ведро, что «овсы» взялись шибко и т. д. Вам нужен кабинет – *для себя*, салон – для общества, классная – для детей. И везде все разное и думается, и говорится, и делается; для пахаря-мужика нужна *одна* изба, потому что все живут одним – землей, у всех один труд – земледельческий, все говорят и делают одно – то, что повелит мать сыра земля!

Недавно пришлось мне разговаривать с одним старым-престарым крестьянином, который вырастил и пристроил всех детей, похоронил жену, сдал землю в общество, так как сил работать у него уже нет, и пошел странствовать по святым местам. И о чем же вспоминает этот старик, стоящий на краю гроба? Что бы ему вспомнить двенадцатый год, осаду Севастополя или какое-либо иное знаменательное событие, свидетелем которого он был? – Нет, он вспоминает только землю.

– Жалко было бросать-то? – спросил я.

– Вот как жалко, сказать не могу... И-и, матушка родная!..

И буквально с плачущими нотами в голосе продолжал:

– По де-вя-но-сто мер хлеба се-я-ал!.. Ов-вес у меня крестецкий, тя-а-желый-претяжелый... Бывало, до свету примутся мои бабы жать, что огнем палят.

«Девяносто мер» – это такая, должно быть, была прелесть, такой простор наслаждению!.. Сарра Бернар, когда будет старой старушкой, вероятно с таким же умилением будет вспоминать восторги, которые она вызывала в массах зрителей, какое испытывал этот старик, вспоминая время, когда он сеял де-вя-но-сто мер, вспоминая крестецкий овес и «своих баб», которые так были «завистливы» на работу, что принимались за жнитво до свету.

Когда между мною и стариком шел разговор (мы сидели на улице, дело было в конце лета), вдруг вдали на деревне грянул звонкий девичий хор; старик поднял голову и, слушая песню, сказал:

– Ишь горло-то дерут! Урожай ноне... Бог послал...

Хор зазвенел еще звончей и громче.

– Картофь, должно, господь уродил ноне, – прибавил старик в объяснение слишком звонкого пения.

³ Зембрих, Марчелла – сценическое имя Марцелины Коханской (1858–1965), выдающейся польской певицы. В 1880–1882 годах Зембрих гастролировала в Петербурге и Москве.

V. Народная интеллигенция

И опять я знаю, что сказанное мною сказано грубо и топорно, но опять-таки повторяю, чтобы хоть как-нибудь разобраться в том запутанном нравственном состоянии, которое переживает народ и которое таит в себе огромные несчастья, необходимы грубые, топорные черты, чтобы резче разграничить необходимое для народа от гибельного. Итак, приводя в порядок все до сих пор сказанное, я думаю, что мало ошибусь, если скажу, что двухсотлетняя татарщина и трехсотлетнее крепостничество могли быть перенесены народом только благодаря тому, что и в татарщине и в крепостничестве он мог сохранить неприкосновенным свой земледельческий тип (он *изнурился физически* на барской работе, но делал ту же работу, что и для себя), цельность своего земледельческого быта и, главное, *земледельческого мирозерцания*. Не нагайки, не плети, не дранье на конюшне, не становые или урядники, ни тем паче пятнадцать томов законов с двадцатью томами примечаний – держали его в повиновении, развили в нем строгую семейную и общественную дисциплину, сохранили его от тлетворных лжеучений, а деспотическая власть «любящей» мужика матери-земли, обязывавшая его тяжким трудом и вместе с тем облегчавшая этот труд, делая его интересом всей жизни, давая возможность *в нем же* находить *полное* нравственное удовлетворение. Кроме этого, едва ли я ошибусь много, если скажу, что и *община* наша только потому, как говорится, устояла и только до тех пор, прибавим мы, устоит, покуда членов ее соединяет *однородность* земледельческого труда, *однородность* надежд, планов, волнений, забот, *однородность* семейных и общественных обязанностей.

Я вовсе не хочу сказать, что *однородность* эта обязательна была и есть для характеров, дарований, умов, нервов. Напротив, над однородностью труда и вытекающего из него мирозерцания – ум, талант, сила, дарование имели полный простор, но проявлялись-то они *в одном* и том же деле, хотя и различно. Эту одинаковость и однородность труда, не мешающего проявлению дарований, надо принимать в расчет и при оценке нравственной силы наших артелей: у нас если пойдут рисовать поднос с огнедышащею горой, так с того места, где нарисован первый поднос, и пойдет по линии верст на четыреста – все деревни и все люди в деревнях примутся малевать тот же поднос с огнедышащею горой. Тут дело в том, что все хотят равняться только в средствах труда: у всех одна и та же краска, одно и то же железо, один и тот же рисунок; на этой одинаковости и конец равнению. Дальше этой одинаковости идет талант, физические преимущества, ум, проворство, случай: раньше встал, прежде других вышел на базар, купец-покупщик попал добрей. Едва ли не преувеличено мнение некоторых исследователей общины относительно размеров той опеки, которую община накладывает на своих членов почти в каждом поступке. Не знаю. Искал я этой опеки и нашел, что действительно иногда общины запрещают своим членам продавать «навоз на сторону», а других опек что-то не видно. Сироту берет не община, а кто-нибудь из нее, добрый человек, – берет *сам*, без помощи и приказания или совета мира. Навоз действительно нужен в хозяйстве. Такие слишком уж одинаковые во всех отношениях общины не существуют даже в животном царстве; даже у стерлядей, по свидетельству рыболовов, существуют «десятники», которые посылаются стерлядиным обществом искать места для метания икры. Волжская рыба сазан, тоже живущая своими сельскими обществами, имеет и выборных, и ходоков, и депутатов; они обыкновенно идут впереди «общества» и, подойдя к заколу, который ставят рыбаки поперек рек, начинают пробовать крепость его носом, потом налегают боком, потом пробуют перепрыгнуть; когда все это не удастся, то депутаты возвращаются и докладывают обществу; мирской сазаний сход решает «взять» закол всем миром, и точно, все стадо с страшною стремительностью бросается на закол и ударяет в него всем своим коллективным рылом. Многие погибают насмерть, а другие проскальзывают в брешь и спасаются.

Не говоря уже о том, что некоторые из мирских поступков нашей деревни, ввиду выше-приведенных примеров (которых можно бы привести множество), теряют некоторую долю своего значения, эти примеры, взятые из рыбьего быта, говорят, что даже и в этом быту нет сплошного во всем равенства и одинаковости, тем паче нет и никогда не бывало его в общине крестьянской, человеческой. Но опять-таки *земледельческий* труд, жизнь в *земледельческих* условиях и, главное, *земледельческое* мирозерцание смягчали эти резкости всевозможных неравенств просто потому, что делали их всем понятными. Возьмем вопрос самого жгучего неравенства – богатство и бедность. Богачи всегда бывали в деревне; но я спрашиваю, чем и каким образом мог разбогатеть крестьянин-земледелец и как и отчего мог обеднеть? – Только землей, только от земли. *Он не виноват*, что у него *уродило*, а у соседа нет; *не виноват* он, что он силен, что он умен, что его семья подобралась молодец к молодцу, что бабы его встают до света и т. д. Тут – счастье, талант, удача; но счастье, талант, удача – *земледельческие*, точно так же как у соседа земледельческая неудача, отсутствие силы в земледелии, отсутствие согласия семьи, нужного для земледелия. Тут *понятно* богатство, *понятна* бедность, тут никто ни перед кем не виноват. Это не то, что теперь, когда Иван Босых, силач и весь созданный для земледелия, нищенствует, а мужичонко, которого перешибить можно плевком, богат без земли и без труда, на который он не способен. Такое богатство, которое у всех на виду, которое всем понятно, – извинительно, и ему можно покоряться без злобы. Чем виноват этот богач-земледелец, у которого земля уродила потому, что на нее *пал дождь*, а на мою не пал, и я обеднял? Завтра на *мое* счастье ударит *грибной дождь*, выпшет в лесу масса грибов, и я не поленюсь встать до света и собрать их, пока другие спят. На мое счастье попадутся белые грибы, а ведь они – рубль двадцать фунт; это счастье может посетить и меня, как посетило соседа. Точно так же я *не могу* роптать и на то, что сосед умней, проворней, сильней, дальновидней. Он и я – мы делаем *одно* и то же дело, только по-разному, по-своему, как кто может и какое кому счастье. Это взгляд, которому учат также земля и неразрывная с нею невозможность сопротивляться велениям природы, с которою человек неразрывен, имея дело с землей и живя земледельческим трудом. Но тот же самый человек, который без зависти и злобы переносит богатство, понятное ему и объяснимое с точки зрения условий собственной жизни и мирозерцания, ожесточится и со злобою будет взирать на такое богатство своего соседа, которое он, во-первых, *не может понять* и которое, во-вторых, вырастает вопреки всему его мирозерцанию, без труда, без дарования, без счастья, без ума.

Вот это-то и есть язва теперешней деревенской жизни, но о ней мы будем говорить самым подробным образом во второй половине этих заметок; там же, и с возможно большею обстоятельностью, мы остановимся и на другой, также важнейшей черте народной жизни, о которой в настоящем отрывке не сказано ни слова почти умышленно – не сказано для того, чтобы по возможности ярче выставить самое основание народного мирозерцания и власть, которую играет в нем земля. Это другое, важное в народной жизни, есть *народная интеллигенция, всегда, во все времена существовавшая в народе, но теперь незаметная*.

Принимая от земли, от природы указания для своей нравственности, человек, то есть крестьянин-земледелец, вносил волей-неволей в людскую жизнь слишком много тенденций дремучего леса, слишком много наивного лесного зверства, слишком много наивной волчьей жадности. Мужик, который убил жену, потому что она «мешает» в хозяйстве, слаба, не работяща, ленива и, может быть, зла, – согласно лесной морали, был прав и, согласно ей, *не чувствовал* себя виновным; но чем же виновата убитая, что она слаба, больна, нравственно несчастна и т. д.? Вот эту, не зоологическую, не лесную, а божескую правду и вносила в народную среду *народная интеллигенция*. Она поднимала слабого, беспомощно брошенного бессердечною природой на произвол судьбы; она помогала, и всегда *делом*, против слишком жестокого напора зоологической правды; она не давала этой правде слишком много простора, полагала ей пределы. Интеллигенция эта ни капли не похожа ни на графа Судак-Огранатова 12-го, который

«с сотнею» казаков разбил многочисленного неприятеля, не походила на поэта, бряцающего на казенной лире подвиги означенного графа, ни на государственного мужа, написавшего столбов разных полезных законов, не походила ни на нынешних станowych, председателей, урядников, гласных, волостных старшин и т. д. Ни на что подобное она не походила, потому что тип ее был тип *божия угодника*. Но это не тот угодник, который, угождая богу, заберется в дебрь или взлезет на столб и стоит на нем тридцать лет. Нет, *наш. народный*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.